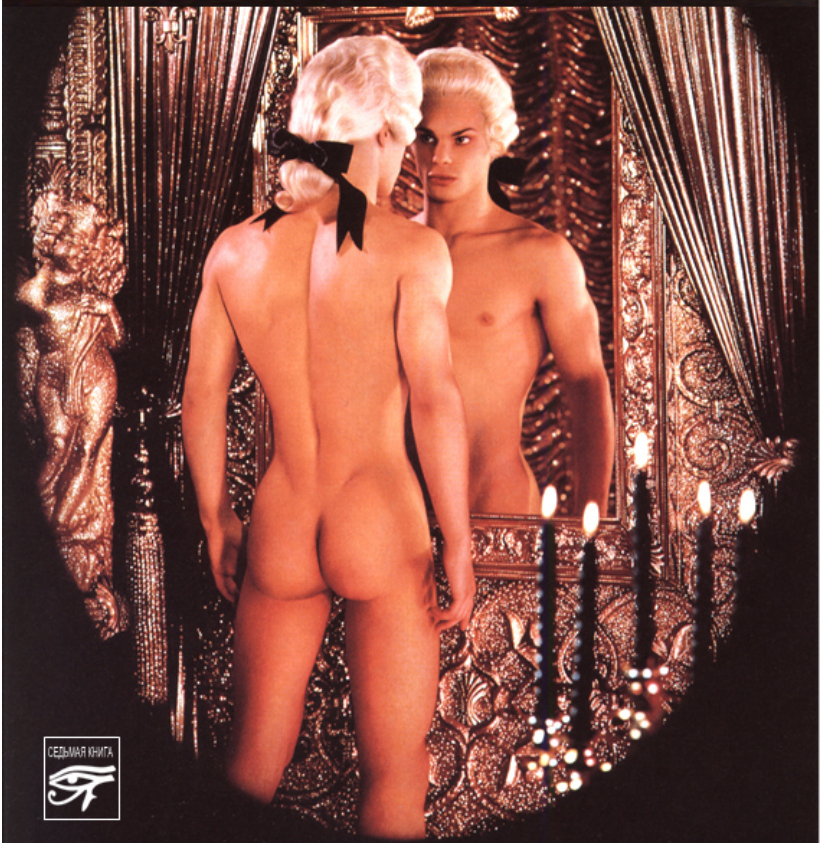
Катулл Мендес

КОРОЛЬ-ДЕВСТВЕННИК



СЕДЬМАЯ КНИГА

Катулл Мендес
Король-девственник

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6262081
Мендес К. Король-девственник: Седьмая книга;
ISBN 978-5-906-13653-4

Аннотация

Фридрих (Людвиг II) Баварский прожил всего 40 лет, но его жизнь оказалась ослепительным спектаклем-сном, сыгранным прямо перед собственным народом Тюрингии, где сценой ему была вся Бавария. Странная жизнь романтического юноши-короля, прозванного современниками «королем-девственником», не перестает и поныне волновать авторов бесконечной череды книг и фильмов о нем. Став королем в 18 лет Фридрих, словно Нерон нового времени, безжалостно спускал все доходы королевства на воплощение своих болезненных и волшебных фантазий в музыке, театре и архитектуре.

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	9
Глава третья	15
Глава четвертая	32
Глава пятая	40
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Катулл Мендес
Король-девственник

Глава первая

Два часа утра: все ожидают появления присутствовавшей на вечере августейшей особы, которая должна подать знак к отъезду…

Это происходило в доме, напоминавшем своей архитектурой здания Геркуланума или, скорее, Помпей и воздвигнутом в одной из северных столиц, по фантазии одного князя, знатока древности.

На площадке крытой галереи подъезда, вымощенной мозаикой, на которой красовалось изображение колесницы Солнца, уносимой четверкой вставших на дыбы коней. Вдоль стен, разрисованных бледными, полунагими, лежащими на розах Адонисами и утопающими в неге Венерами, толпилась придворная свита, в своих ярко-блестящих, расшитых золотом и увешанных орденами мундирах. Волосы их, причесанные по-женски, сзади были перехвачены дорогими каменьями, из-под которых, вдоль спины, спускалась длинная гирлянда цветов; несколько поодаль, почтительно склонившись, стояли члены посольства, с орденами в петлицах.

Весь вечер, мраморные статуи двенадцати цезарей, каза-

лось, взирали на это пиршество своими белыми глазами, с высоты пьедесталов, будто сравнивая с ним прежнее величие минувших оргий; губы их точно улыбались в то время, когда до них дотрагивалась чья-нибудь голая, пухлая рука.

Вдруг послышался смешанный гул многочисленных голосов, и толпа прихлынула к дверям залы; сквозь двойной ряд придворного штата, медленно приближалась женщина, опираясь кончиком своей падевой перчатки на вышитый золотом обшлаг шталмейстера.

Блондинка, с волосами рыжеватого оттенка, цвета маисовых листьев, выжженных солнцем; с лицом матово-восковой белизны; с маленьким лбом, под тяжелой диадемой; с задумчивыми голубыми глазами, широкими, живыми, напоминающими взгляд Юноны; с горбатым носиком и раздувавшимися ноздрями — характерными особенностями типа эрцгерцогинь; с пухлыми губами веселой парижанки; обнаженной шеей, высокой, чересчур декольтированной грудью, выглядывавшей из-под белых кружев и золота — точно сирена, выходящая из волн, которыми было отделано ее атласное платье, светло-зеленого цвета морской волны, платье почти без рукавов, верхняя короткая юбка которого, приподнятая там и сям букетами морских растений, спускалась на другую, нижнюю юбку, сверху отделанную буфами, а к низу — мелкими воланами, которые, постепенно сужаясь, переходили в длинный шлейф, образуя собой нечто вроде смеси белой пены и морской зелени.

То была самая могущественная и красивейшая из женщин.

Проходя мимо свиты, она слышала шепотом произносимые ей вслед восклицания изумления и почтительности. Было время, когда, с торжествующим сознанием победительницы над прихотливою игрой судьбы, — она любила слышать этот льстивый шепот, любила присутствовать на празднествах, которые устраивались в честь ее величества. Но годы летали быстро, незаметно. Королевы тоже стареют. Еще веря в силу своей красоты, люди уже начинают подумывать о том, что красота изменчива. Скоро наступает пресыщение, так что слава и веселие утрачивают свой прежний смысл. И, кроме того, можно ли знать, что ожидает в будущем того, кто торжествует победу в настоящем! Быть может, это-то неизвестное и будет самым ужасным. Однако, страх за будущее не уменьшит чувства пресыщения настоящим: всеобщее поклонение уже утратило свое прежнее обаяние, а всеобщая покорность не вызывает более гордого сознания своей власти; нередко, проходя мимо зеркала, не находишь уже нужным остановиться перед ним, чтобы полюбоваться своей красотой и своей короной.

Она проходила медленно, слегка склонив голову, будто для поклона, полуоткрыв рот, будто готовясь улыбнуться, а между тем, ни поклон, ни улыбка не удавались ей; вероятно, она даже не замечала никого, не слышала ничего, так как, привыкнув к поклонению, не придавала никакого значения

этому всеобщему восторгу.

Но ресницы ее мгновенно вздрогнули, когда она подошла к выходной двери; она быстро повернулась лицом к стоявшему там человеку, который ниже всех склонился для поклона. Вероятно, то был иностранец, так как вся грудь его мундира была увешана целым рядом звезд и орденов различных министерств.

Худощавый, высокий, даже, можно сказать, чересчур высокого роста, так что, при поклоне, он перегнулся почти надвое, с коротко-остриженными волосами с проседью — он был уже немолод — обнажавшими кое-где его розоватый остроконечный череп; с лицом, губы которого вечно изображали собой букву О, и в котором сказывалось что-то крайне загадочное; с глазами, как-то комично выглядывавшими из под двойных стекол очков; в каком-то беспорядочном костюме и полуразвязанном галстуке — он, в общем, носил на себе отпечаток человека дурного тона.

И, в тоже время, несмотря на такую непривлекательную внешность, во всей его фигуре проглядывало какое-то горделивое изящество, и длинные руки его были безупречно красивы.

Какая-то смесь бонвивана и вельможи. Словом, ничего более или менее замечательного не было в этой фигуре.

— Князь Фледро-Шемиль? — спросила королева.

Он чуть не упал на колени от восторга, что его узнали.

Улыбка, дотоле скользившая на ее губах, мигом осветила

все лицо, которое разом просияло, как внезапно распустившийся цветок, в глазах также отразилось радостное изумление. Теперь, царственное величие ее лица сменилось выражением мягкой улыбки, хотя и с оттенком легкой иронии, но, в то же время, не лишенной нежности: нежность матери, делающей выговор любимому дитяти и ласково грозящей ему пальцем,

Нельзя допустить, чтобы князь Фледро-Шемиль своей фигурой мог вызвать на лице королевы такое выражение радостного удовольствия; вероятно, она, в эту минуту, ласкала себя какой-либо надеждой или припоминала нечто.

— Как поживает мой двоюродный брат, король Тюрингии? — спросила она.

Он сделал печальную физиономию и, с глубоким вздохом, отвечал:

— Увы! очень плохо, сударыня.

— А! — вырвалось у нее, также со вздохом.

— Да! — повторил он, еще раз вздыхая.

— Так вот что, господин камергер, приходите в замок завтра. Вы мне расскажете о болезни короля.

Сказав это, она удалилась; на губах ее скользнула легкая презрительная усмешка, но уже без всякого оттенка суровости. Нечто вроде: «А! Безумец!»

Глава вторая

Однажды, в газетах пронесся слух о том, что князь Флеро-Шемиль не то умер, не то женился; не помню, наверное, что-то из двух. А ведь еще недавно его называли бонвиваном и считали видным женихом, несмотря на то, что он постоянно жаловался на боль в желудке и, по замечанию остряков, «носил в своем черепе гроб» — это выражение так и осталось неразъясненным.

В Германии он получил титул «Светлейшего» не за то только, что был князь — разумеется, русский, — а за то, что уже был камергером и, притом, таким, каких мало. Чей камергер? — Каждого. Всем казалось вероятным, что, в одно из своих путешествий, он занимал в Петербурге важный пост при дворе великой княгини Марии, и, кроме того, не подлежало сомнению, что мелкие германские короли наградили его различными орденами. За какие заслуги? — на это трудно ответить, да и он сам был настолько скромен, что не, помнил о них. Однако, его родословная вовсе не соответствовала тому высокому положению в свете, какое он занимал в графстве Сакс-Мейнингском: это был человек низкого происхождения, облеченный в почтенную ливрею камергера, благодаря тому, что ему пришлось обучать игре на флейте племянницу царствующего герцога. Почему бы и не так? Ведь, бывали же во Франции такого рода примеры, что, в

первые министры короля попадал человек, незадолго перед этим бывший, простым ветеринаром.

Как бы там ни было, но только занимаемый им почетный пост имел свои неудобства для князя Фледро-Шемиля. Где только ни побывал он, и куда ни бросала его судьба! Как дорожный камергер, он должен был сопровождать в путешествиях великих герцогов присутствовать на княжеских обедах, появляться в царских ложах. Это положение придворного паразита — которым он так нагло кичился — дурно влияло на его материальные средства, которые, и без того, были не в блестящем положении: имея весьма ограниченное состояние, он принужден был выдавать себя везде за богача; соблюдая строгую экономию в необходимых расходах, нужно было сорить деньгами одновременно; он привык к расточительству, не имея, подчас, возможности достать ни гроша.

Выгодная же сторона в его положении заключалась в том, что она позволяла ему окружать себя некоторой таинственностью и загадочностью придворного, посвященного во все тайны дворца — и это ему удавалось в совершенстве; ведь, камергер — почти что дипломат. Разыгрывая роль человека, которому известны все тайны политических пружин и вся интимная жизнь знаменитостей, государей, королей, князей и министров, он всегда старался говорить отрывочно, полусловами, что заставляло предполагать в них затаенный смысл, нечто недосказанное, таинственное. Давая понять, что он посвящен во все тайны будуарной жизни авгу-

стейших особ, он заставлял думать, что только долг уважения предписывает ему говорить об этом не иначе, как полунамеками: пусть об остальном догадываются сами — он этому не противится; иногда даже как-бы одобряет более догадливых слушателей многозначительной улыбкой, как бы говорившей: «О! Да, да, именно, так, вы угадали верно», а сам он, между тем, ничего не утверждает. О, ведь, он очень остерегался сказать что-либо! И действительно, ни разу не обмолвился, ни одним словом, разумеется, к лучшему, потому что нередко ему самому приходилось узнавать от других, именно, те новости — верные или ложные, неизвестно — которые он должен был знать раньше всех.

Роль эта подходила к нему, как нельзя больше; даже сама фигура его вполне соответствовала такому назначению: эти маленькие, желтоватые, вечно прищуренные глаза, скрытые под очками; эти жесты человека, готового сообщать другому нечто очень важное и, в то же время, сдерживающегося из боязни проговориться; эта манера говорить мягко, с расстановкой, даже смущенно, как бы подыскивая нужные слова и, при этом, давая заметить, что он хочет избежать возможности быть нескромным.

Появляясь же в официальных салонах, он тотчас сбрасывал с себя и эту манеру держаться с достоинством человека, носившего орден в петлице, и свою умышленно-высокомерную поступь, словом, всю ту личину, с помощью которой он приобретал себе почетный кредит в глазах заезжих тури-

стов. Он являл собой здесь полнейший контраст и изумительную сообразительность: этот самый князь Фледро-Шемиль, разыгрывавший роль придворного с теми, кто не принадлежал ко двору, мгновенно преображался, как только попадал в круг настоящей придворной свиты; этот дипломат, чуть не властелин за минуту, вдруг становился не более, как шутом; из-за ливреи камергера сквозил авантюрист, встречающийся в столовых отелях, с заломленной набекрень шляпой, измятой, с оторванными полями; в развязанном галстуке и жилете с недостающими пуговицами, в потертых на коленях брюках, в которых он нередко проходил по задам дворца. Дерзкий, как Трибуле, он не знал удержу, именно, там, где не допускалось ни малейшей вольности. Так, например, не обращая ни малейшего внимания на строгие условия придворного этикета, он, с апломбом негодяя, позволял себя самые сумасбродные выходки. Политика, кабинетные интриги, наиболее интересные новости дня — все становилось предметом его злого юмора. Казалось, что язык этого человека ни на минуту не оставался в покой; то он сыпал каламбурами направо и налево, то, вдруг, начинал рассказывать наиболее пикантные анекдоты какому-нибудь наследному принцу Мерсебургскому или Саксен-Готскому, посвящая их таким способом в закулисную жизнь Парижской оперы Буфф, тут же упоминая вскользь о красавице Оттилии или Лолоте, которых он встречал в такой-то пивной и с которой предлагал познакомить слушателя. Нередко, за десертом на

каком-нибудь официальном ужине, он, притворяясь пьяным — хотя пил только подкрашенную вином воду начинал говорить на ухо какой-нибудь ландграфине различные двусмысленности, советуя ей, между прочим, нарядиться, в следующий придворный бал, в костюм мадемуазель Шнейдер, в котором та является во втором акте «Периколы»! Невольно приходилось изумляться тому, что его еще ни разу не выпроводили за дверь дворцовые лакеи. Быть может, все эти дерзости сходили ему с рук лишь потому, что, поступив иначе, боялись навлечь на себя неудовольствие тех многочисленных патронов, у которых он состоял в звании камергера, и потому, желая выйти из неловкого положения, при таких выходках, обыкновенно, говорили про него: «оригинал».

При том же — его находили забавным, а он, постепенно втягиваясь в эту роль, простер свою дерзость до того, что осмелился, однажды, утром, в августе, выкупаться в пруде одного княжеского парка и выйти голым из воды, прямо под окнами царствующей герцогини. Однако, несмотря на подобные выходки, или даже благодаря им, князем Фледро-Шемилем интересовались многие. Из дам и кавалеров находились даже люди искренне преданные ему. Только одно обстоятельство говорило положительно не в его пользу. Хотя он выдавал себя за русского, но все знали, что он был родом поляк. «Шемиль» слово черкесское; «Фледро» — литовское. В этом сочетании двойного отечества сказывалось ничто подозрительное. Князя упрекали в том, что он променял свою

родину на чуждую ему национальность и считали это забвение родной земли настолько же нечестным, как если бы он ограничился лишь пожатием плеч перед трупами мучеников или с улыбкой принял бы известие о каком-либо совершенном злодеянии.

Не ускользнуло от внимания более наблюдательных людей и то обстоятельство, что — несмотря на свою обычную болтливость — он сразу умолкал, как только речь заходила о Польше.

Вообще же, отзывались о нем, как о человеке умном, приятном и образованном собеседнике; он даже написал несколько французских комедий пословиц, которые ставил на сцену лишь в присутствии коронованных особ, руководясь, при этом, собственным расчетом.

Глава третья

На следующий день горничная ввела князя Фледро-Шемиля в покои королевы. Вся разодетая в розовый шелк и кружево, хотя и не первой молодости, но красивая, с веселым, чрезвычайно оживленным лицом, с подкрашенными губами и нарумяненными щеками, горничная была похожа на тех сказочных субреток, которые вводят принцессу Авантюрину в замок духов. И, действительно, эта особа странствовала всюду со своей госпожой и, наконец, они обе достигли дворца. Госпожа сделалась королевой, служанка осталась субреткой, но не носила коротких платьев потому, быть может, что боялась этим привести в ярость епископов, приходивших иногда беседовать с королевой. Однако, в манерах ее сохранился отпечаток той загадочной таинственности, с которой, обыкновенно, женщины этого сорта излучают и передают вручаемые им любовные записки; таким женщинам, обнимая их за талию одной рукой, другой вручают кошелек с золотом.

Она с какою-то таинственностью сказала князю:

— Сейчас пожалует Её Величество.

Он почувствовал себя польщенным.

Идя по следам ловкой камеристки и минуя громадные приемные, у дверей которых стояли внушительного вида дежурные гусары, он очутился в одной из тех галерей, приле-

гающих к обширным залам дворца, которые точно прячутся за ними, скрываясь от любопытных взоров. Романтик по натуре, он представил себя теперь в положении герцога Букингемского, когда тот явился к Анне Австрийской — просить у нее ту розу, которая была в ее волосах накануне.

Он окинул взглядом помещение. Если бы не уверенность, что он находится в покоях королевы, то можно было бы предположить, что находишься в жилище какой-нибудь красивейшей женщины полусвета.

Комната была не велика: не зал, а, скорее, будуар. Вместо потолка, огромное зеркало, чистое, как прозрачная вода, все обвитое ползучими водяными растениями изумрудного цвета, зеркало, в котором, сверкая то белыми, то золотистыми искорками, отражалась жемчужная инкрустация, изображавшая желтых, ирисов и бледных шелковичных червей. Точно над вашей головой, вместо неба, очутилось озеро.

На стенах, обитых светлым атласом, виднелось изображение огромного болота, освещенного лунным светом; висевшие в углах продолговатые венецианские зеркала были украшены роскошными рамами, с рельефно выделявшимися фигурами арлекинов и голубиных головок.

Вверху задрапированных дверей, откуда спускались целые волны кружев, висели китайские фонари, звонкие колокольчики которых, при самом легком движении, издавали приятый, мелодический звук. Среди различных безделушек, уставленных на камине; коробочек, старинных миниа-

тюр, хрупких фарфоровых пастушек в коротеньких юбках, с надетыми на бок шляпками, точно улыбавшихся китайским болванчикам с огромными животами, которые качали головами и высовывали языки — как-то сиротливо выглядывали, кокетливо обделанные в белое с розовым севрские часы. Беспорядочно расставленные и обтянутые светлым атласом кресла с выволоченными ножками группировались по углам; подушка из какой-то дорогой материи, годная для украшения любого княжеского трона, была небрежно сброшена с длинного кресла. На всем виднелся отпечаток роскоши былых времен, рядом с кокетливым изяществом современной эпохи. Но эти резкие контрасты сглаживались под общим колоритом симметрии и изящества; подушки, кресла, измятые кружева, зеркала, фарфор — все, в общем, напоминало о присутствии здесь женщины. Как-то сразу воображение рисовало картины веселой болтовни вполголоса, когда губы одного собеседника чуть не касаются губ другого, а стулья стоят так тесно рядом, что ноги невольно задевают соседа; быть может, эта подушка была сброшена какой-нибудь интимной подругой, которая, полулежа в кресле хотела поудобнее облокотиться на колени своей государыни, желая заглянуть в ее глаза. В безмолвии этой комнаты будто слышался еще веселый шепот. А между тем, перед единственным окном, на старинном — чисто монашеском, жестком и без всяких украшений — аналое лежало открытое евангелие; вероятно, аналой этот был найден в каком-нибудь аббатстве Бур-

го или Вальядолиды.

Скоро послышались шаги маленьких ног по ковру.

«Королева», — подумал князь Фледро-Шамиль, мысленно торжествуя.

Но едва отворилась дверь, как ему с трудом удалось скрыть свое разочарование: в дверях стояла графиня Солнова.

Она неудержимо расхохоталась. Такова была уж ее манера здороваться; а между тем, этот смех, при занимаемой ею должности посланницы, нередко ставил в крайне неловкое положение лиц того ведомства, представителем которого был ее муж. К счастью, ее считали дурочкой — хотя дальновидные люди сильно сомневались в этом; и, в то же время, ей приписывали следующая слова: «жизнь — отражение карнавала; другие маскируются, а я смеюсь».

Она любила компрометировать себя и умела, при этом, быть только вполовину скомпрометированной.

Некрасивая лицом, с короткими подвитыми волосами, очень смуглая и не употреблявшая никогда косметику, худощавая, с узкою костью, с огоньком в глазах и едкою усмешкою на губах; в чересчур смелом туалете, изумлявшем девушек необычным покроем и пестротой платья и шляп, а дам — излишней обнаженностью ее плоской шеи; болтавшая весьма свободно, не без пикантных словечек и многозначительных жестов; вечно заглядывавшая в лица мужчин; любопытная до крайности и любительница всего прекрасно-

го; легкомысленная товарка див из кафе-концертов и восторженная поклонница Ганса Гаммера — великого германского композитора; разумеется, имевшая любовников, которых позволяла только угадывать — она не признавалась в этом никому, даже находясь тет-а-тет, она позволяла себе многое, однако, делая вид, что ничего не позволяет; ее смелость не допускала других ни до чего лишнего.

Ей приписывали много безумных выходок, но не имели возможности указать ни на одну. Про нее складывались легенды, но никто не знал ее истории. Рассказывали, будто видели ее на балу в опере, то в домино, чаще же без маски, причем она как бы хотела сказать: «Запрещаю узнавать меня»; кроме того, однажды, загримировавшись по-мужски, она — даже не из ревности, а на пари — в совершенстве подражая манерам своего мужа, влюбила в себя одну красавицу из оперы Буфф, в которую до безумия был влюблен ее муж; затем, будто эксцентричность ее дошла до того, что она сама влюбилась в приговоренного к гильотине, знаменитого клоуна, по имени Аладдин или Папиоль.

Но все эти выдуманные похождения были до такой степени неправдоподобны, что даже сами злоязычники не верили тому, что говорили о ней; и вот, благодаря преувеличенным рассказам об ее распущенности, репутация мадам Солновой, так или иначе, оставалась незапятнанной.

При том же, ее опасались, зная о ее близкой дружбе с королевою, а так как страх нередко переходит в уважение, то

на все старались смотреть сквозь пальцы. В общем, это было маленькое, легкомысленное создание, которое могло подчас вселять ужас; презираемое некоторыми, но любимое всеми создание, о котором по секрету рассказывали невообразимые вещи, а вслух приписывали всевозможные добродетели; по мнению одних — окончательно развращенная; — по мнению других — добродетельная! Изумительно!

Она спросила, не переставая хохотать:

— В котором это часу вы пожаловали сюда, князь Фледро? Разве солнце уже встало? Хороши, однако, немецкие нравы! У вас женщины, вероятно, надевают корсеты до зари, именно, тогда, когда мы снимаем наши. На ваше счастье, я ночевала во дворце — иначе, вы не были бы приняты. Уверяю вас, здесь еще никто не просыпался, кроме меня и маленькой красношейки, которая прилетает по утрам на мое окно и стучится в него своим клювом.

Все это она проговорила, дрожа, как в лихорадке, придерживая рукою на шее кружева мантильи, длинные концы которой падали на фуляровый пеньюар, палевого цвета, охватывавший плотно ее стан и обрисовавший впадины маленького худощавого тела; при малейшем движении, от нее веяло особого рода теплотой только что покинутой постели:

— Позволите вы мне прилечь на длинном кресле. Сегодня так холодно. Ну, а теперь расскажите, в чем дело, что вам угодно?

Несколько сбитый с толку этой болтовней и отчасти эти-

ми живыми, грациозными жестами и тем своеобразным запахом, в котором он, как знаток, находил нечто обаятельное — князь испытывал какое-то чувство неудовольствия; он, с легким поклоном, ответил ей:

— Ее величество позволили на меня надеяться.

— Что вы будете приняты лично ею? О! Князь, вы об этом и не думайте! Ведь, все знают, в чем дело. Разве можно что-либо скрыть, будучи королевой? И потому сочинили бы целую историю, так как вы приехали, конечно, по поручению короля Фридриха; ведь, не напрасно же вы проехали триста миль и, явившись на вечер в Помпейский дом, постарались стать на видное место, в то время, как проходила ее величество. Без сомненья, у вас есть к ней поручение, но политика тут не при чем. Думаете ли вы, что уже успели забыть о том, что случилось во время посещения Фридрихом II его царственного двоюродного брата и кузины? Ах! бедный малютка, король! Никогда не забуду я его печальной мины. Впрочем, он красив, только уж чересчур гладко причесан; но выражение глаз очень мягкое. Строен, как высокая молоденькая девушка, одетая в белый генеральский мундир! Но все же он был смешон — это да. Эти вздохи, вылетавшие из груди, взгляды, доходившие прямо до сердца, все атрибуты немецкого жениха, который напрасно ожидает в условленный час свою Гретхен или Шарлотту, чтобы идти с ней гулять под липами. В день отъезда, случилось даже нечто худшее. Клянусь, я едва смогла удержаться от смеха, когда

увидела слезы на его глазах; он не решался тронуться с места, растерянно смотрел по сторонам, не выпускал ее рук из своих, точно Lubin в комедии. Ну, можно ли себе представить нечто подобное! Влюбиться в королеву, будучи королем! Ведь, нет возможности сохранить это в тайне. Переписка ведется через посланников; разумеется, посылают не любовные записки, а верительные грамоты; размолвки излагаются в форме протоколов, а при ссоре пишутся ультиматумы. Даже тайные свидания должны стать достоянием истории. Ведь, кому же не известно, как много шума наделали любовные похождения Клеопатры и Антония, а между тем, Клеопатра была вдова и, при том, от многих мужей. Вероятно, и ваш повелитель, король, имел такую же безумную фантазию. О! конечно, он был чересчур искренен. А так как королева добрее меня, то она пожалела его немного. И какой же скандал вышел изо всего этого! А вы еще хотите думать, что ее величество, удостоив лично принять вас, тем самым пожелает дать новый повод к различным толкам о том приключении, которое должно изгладиться из памяти, с течением времени. Никогда. Я, вот, к вашим услугам. Жалеть вам не о чем: вы почти посланница, а я, в полном смысле, посланница. Говорите же, чего желает от нее король Тюрингский?

— Выразить свои верноподданнические чувства ее величеству, — отвечал князь Фледро Шемиль, входя в роль дипломата.

— Ну, да, да, разумеется. И далее?

— Далее ничего, — еще сдержаннее проговорил он.

Едва удерживаясь от смеха, она вся дрожала, точно марионетка, когда ее разом дернут за все шнурки.

— О! Да какой же вы скрытный! — сказала она, наконец. — Сразу видно, ученик старой школы — быть всегда настороже, говорить односложно. Настоящий Талейран! «Старая песня», как выражаются мелкие журналисты. Берите-ка лучше с меня пример: говорю много, а не скажу ничего.

Он молчал.

— Но, — продолжала она, с комично-серьезным видом, — вероятно, то, чего требует ваш король, слишком серьезно? А между тем, он не похож на Дон-Жуана и ничем не напоминает того из своих предков, который готов был лишиться всего из-за любви к какой-нибудь красотке, танцевавшей почти без одежды в театре Порт-сен-Мартена. Знаете анекдот о Фридрихе I-м? Говорят, что святой Петр, увидев его входящим в рай, закричал: «Вот идет король Фридрих — скорей запирайте одиннадцать тысяч дев!» Но, ведь, ваш король очень сдержан, и когда он входит, то нет надобности прятать молодых девушек. В нем более сходства с Фридрихом Савойским, который умер в Палестине от излишней скромности: он не хотел допустить, чтобы его раздела племянница одного сарацина. Скажите, неужели правда, что ваш король никогда не входит в ту залу, где находятся портреты красивейших женщин, собранные дедом его с официальных балов, он исчезает, садится на лошадь и уезжает в го-

ры к своей кормилице, с ужасом рассказывая о том, что ему пришлось видеть голые женские шеи и руки? Это очень забавно! Однако, вы должны сильно скучать в обществе такого короля, в Нонненбурге. Это не двор, а монастырь какой-то! Да есть монастыри, в которых живут гораздо веселее. Поговаривают, будто он отказывается от женитьбы, чем сильно огорчена эрцгерцогиня Аизи. Бедная крошка, я знала ее еще малюткой. Как немка, она была бы не дурна. Вам, конечно, не пришлось бы иметь в ней блестящую королеву, но король нашел бы себе б хорошую жену. Да, почему бы ему не жениться на ней? Уж не вмешаться ли мне в дело сватовства? Нет, он этого не захочет, я знаю. Из-за своего каприза, ему придется остаться лишь вечным поклонником музыки. Меня вовсе не пугает его любовь к королеве: это не более, как нежность, мечты. Он увлекся ее величеством потому только, что она недоступна, божественна, недостижима. Да, я понимаю, именно, так. Вы, следовательно, можете сказать мне, чего он желает. Быть может, одного милостивого слова, какой-нибудь ленточки, которую она надевала? Да, разумеется, он удовлетворился бы этим.

— Итак, я не буду иметь чести видеть королеву? — спросил, помолчав Фледро-Шемиль.

Она ответила сухо:

— Нет.

Тогда он решился заговорить:

— Король Фридрих сильно желал иметь портрет короле-

вы и поручил ему, князю Фледро, секретному поверенному, просить у королевы ее портрет,

— Портрет? — с изумлением воскликнула графиня, — Разве у него нет ее портрета? Но, ведь, портрет можно купить везде. Таков уж обычай. Его выставляют за витрины рядом с портретом каждой знаменитой наездницы из цирка. Чего только не перемешивают теперь! Наши портреты всегда находятся в дурном обществе. О! У меня несколько портретов королевы, и я вам дам их, сколько угодно.

— Мой государь готов умолять на коленях о том, чтобы ее величество лично послала ему свой портрет.

Она сделала озабоченную мину, напоминавшую кукол с серьезным лицом.

— Это невозможно, князь Фледро! Положительно невозможно. Такая милость могла бы компрометировать ее величество. За кого же вы нас принимаете? Мне кажется, ваш добродетельный король очень дерзок! Как мог он позволить себе даже говорить о подобных вещах! А! Правда; тогда мы были неосторожны и чересчур снисходительны. Такова была мода. И потом, тогда мы пили вино, и никто не обращал внимания на расточаемые и подмеченные кем-либо улыбки. Теперь же мы стали солиднее. Тогда мы развлекались болтовней с какой-то толстушкой, которая пела «Медвежью пастушку» на дворцовых празднествах; слишком декольтировались, желая популяризировать, свою красоту. И вообще, делали много подобных глупостей. Но то время миновало. Те-

перь мы строги, держимся с достоинством и стали ханжами; занимаемся высокими идеями, говорим о политике, пока нас причесывают. Ведь нужно же подумать о будущем династии. Нас сильно тревожат республиканцы. Вы не читаете журналов? Катастрофа была бы неизбежна, если б не принимали мер. Мы следим за собой, потому чти на нас, смотрят все. Ездим в лес, но розы уже срезаны. И потом, заметьте, нам от тридцати до сорока лет. Не мне — а ей! Почти, ведь, матроны. Наш портрет! Быть может, в бальном платье, и просвечивающее? А! Да он вовсе не целомудрен, ваш король Фридрих II! Сожалею об этом и поздравляю вас; что-то вы с ним поделаете! Однако, не рассчитывайте вовсе на портрет. Прежде всего, я этого не желаю. Я не дала бы ему даже своего, если б он его попросил.

Князь Фледро-Шемиль изобразил огорченную физиономию. Он низко, со вздохом поклонился, и сделал шаг к двери.

— О! — сказала она, снова усаживаясь в кресле и расправляя на коленях складки своего палевого фуляра, — вы, кажется, в отчаянии, господин посланник! Посмотрим, вернетесь и расскажите мне все. Что вам обещано, в случае удачи?

Князь Фледро приблизился.

— Буду откровенен.

— Конечно. Разве можно лгать!

— Я надеялся получить высокую награду.

— Вас сделали бы министром, из-за любви к портрету?

— Почти так.

— Да! это меня удивляет. Не сердитесь! Вы дурно поняли, что я этим хочу сказать. Мне кажется, есть род службы, не менее почетный, но который более соответствовал бы вам.

— Какой же, именно, сударыня?

— Ну, хоть бы, тот, который вы занимаете в данную минуту, — сказала она, разразившись смехом. — Ведь, этот род службы очень почтенный. Меркурий был один из двенадцати великих богов.

Это его развеселило. Он оставил в сторону свой официальный тон и сделался, просто, послушным ребенком.

— Король обещал, — сказал он, — назначить меня управляющим театрами в Нонненбурге. Вы поймете мою радость. Я заставил бы давать одну за другою все лирические драмы Ганса Гаммера! Но только не с нищей постановкой вульгарных импресарио. Имея под рукой государственные сундуки, которые служили бы кассой дирекции, я мог бы поручить рисование декораций. Макарту или Геннеру; я желал бы пригласить ангела, для исполнения роли Рыцаря в «Лебеде».

Она погрозила ему пальцем, глядя на него боковым взглядом.

— Недурно, — сказала она. — Это ловко придумано. Вы знаете мою страсть. Вам, верно, рассказывали, о веере, разбитом о барьер ложи. Но признайтесь в одном: вы также стали бы играть в этих комедиях?

— Никогда.

— Ну, значит, вы человек со вкусом.

Он сделал вид, что находит это забавным.

— А теперь, — сказал он, — все эти прекрасные мечты разрушены, так как я не получу портрета. По-прежнему, драмы Ганса Гаммера будут поставлены при декорациях, разрисованных злополучными малярами, как какие-нибудь банальные произведения еврейского музыканта, а итальянские тенора будут, наподобие воркующих голубков, шептать около рампы трагические мелодии великого композитора.

— Ах! Вы разрываете мое сердце!

— И вы одна будете тому виной.

На минуту она задумалась, с выражением какого-то недоумения на лице. Ей нравилось разыграть роль застигнутой врасплох. А может быть, это так и было на самом деле. В каждом есть доля искренности. Она отбросила кружева мантильи, рискуя позволить нескромному взгляду увидеть утром то, что на вечерах она показывала всем, и сказала решительным тоном:

— Ну, хочу спасти вас. Я нашла средство.

— Я получу портрет?

— Даже более. Помните только одно, что я имею в виду не ваши личные интересы. Что же касается Ганса Гаммера, то он при этом ничего не выиграет и не потеряет, так как он гениален сам по себе! И завтрашняя удача вознаградит его за потерю сегодня. Нет, меня занимает Фридрих II. Он мне нра-

вится. Мне досадно, что он все еще разыгрывает роль птенца. Я хочу помочь вам сделать из него мужчину. Фи! Какая это ограниченность! Разве уместен король с идеями Платоновской Республики? Акины хороши, но лишь во времена Перикла; и я предлагаю вам Аспазию.

— Я ничего не понимаю.

— Вы меня поймете, — сказала она, оживившись до того, что даже краска бросилась ей в лицо. — Я хочу, чтобы менее, чем через месяц, Нонненбургский двор, где все живут чинно, как в монастыре, где опускают глаза, чтоб не видеть женщин, где красота прячется по углам — чтобы там явилось оживление, дерзость, ослепление блеском! Знаете, для этого вам потребуется новая Мона Карис, та самая, которая танцевала без всякой одежды и срывала шапки у ваших студентов. Я хочу произвести революцию в государстве. Королева мать взбесится! Тем хуже, она некрасива. Даже и в молодости она была старообразна. Но пусть утешится председательством в совете министров.

— «Занимайтесь политикой, сударыня, а мы займемся любовью». Что это я говорю, однако? Я забыла вас. Вообще, это будет прелестно! Воображаю себе убитые горем лица ваших мрачных министров, когда они увидят карету молоденькой фаворитки, запряженную шестерней белых лошадей, с развивающимися султанами кучеров. А лошади помчатся на север.

— Вы хотите приехать в Нонненбург? — спросил князь

Фледро.

— Дерзкий! — сказала она. — Да посмотрите же: я дурна… одни кости, нет мяса, и жгучая кожа. Это хорошо для знатоков. Херувимы любят великанов. Голодные нуждаются в хорошем ужине. Только сытые люди довольствуются бекасами; меня никто не любил, кроме сорокалетних мужчин. Опытные люди выбирают; наивность принимает все, лишь бы ей давали много. Я предлагаю вам нечто очень необыкновенное, ошеломляющее, ослепительное! Глаза, не привыкшие смотреть, будут вынуждены видеть. Добродетель вашего короля незыблема, как стена, я даю вам в руки стенобитную машину.

— Что же вы предлагаете мне?

— Сейчас узнаете.

Но ее прервали.

Из соседней комнаты послышался голос, говоривший:

— Ну! Дурочка, я встала!

— А! Слышите, меня зовут, — сказала графиня. — Мне некогда теперь объяснить вам, в чем дело. Только одно слово. Будьте завтра вечером в Итальянской опере. Слушайте, смотрите и постарайтесь понять. Я оказываю вам громадную услугу. Итак, повторяю, в Итальянской Опере. Играют Травиату. О! Это ужасно! Но дело идет о певице. Если вы не глупец, то будете через месяц управляющим театрами, а через год первым министром. А! Впрочем, вы, ведь, не объявите нам войны?

Она исчезла. Дверь осталась полуотворенной, быть может, нарочно. Он услышал шепотом произнесенные слова:

— Ты большая проказница! Прежде всего, она на меня не похожа вовсе.

— Но если бы, если бы она походила на вас; и при том же, воспоминание помогает иллюзии.

— Ты думаешь, что…

— Предоставьте все мне. Это хороший способ быть любимой. Тут место славе и мечтам, но не скуки. Мы поговорим об этом вечером.

Больше он ничего не слышал. Появилась субретка с таким видом, который ясно говорил, что пора уходить. Он вышел, обеспокоенный тем, что ему не удалось понять разговора. Однако, пошел покупать билет на представление «Травиаты» в Итальянской Опере.

Глава четвертая

За кулисами, в фойе, перед дверями лож неистово звонил колокольчик второго режиссера, звонил повелительно, грубо, точно лаял, как пастушья собака, сгоняющая стадо. Все стадо было в переполохе. Полутемная сцена была полна, колеблющееся круглое отверстие наверху бросало продолговатый отблеск, освещавший суетившихся и бегающих машинистов в голубых блузах, число которых постепенно увеличивалось; кто шел с креслом на голове, кто со стулом на плече; гардеробщицы, с откинутыми назад головами, навьюченные до самых глаз шумящими юбками, с платьями, обшитыми галунами, рукава которых тащились по полу, со шпагами и перьями для причесок, вытряхивали в коридорах пыльные корзинки или картонные позолоченные канделябры выходных мальчиков; по витым лестницам торопливо спускались хористы, фигурантки и фигуранты, первые очень раскрашенные, вторые — с синими подбородками, не смотря на предписание бриться; то были некрасивые, выцветшие создания, в своих поношенных бархатных и измятых атласных костюмах; некоторые из лож оглашались вечной ссорой теноров со своими парикмахерами, а в других сопрано, в черных и розовых корсетах, представляли свои ноги стоявшей на коленях горничной, которая стягивала им ботинки, между тем, как сами они, повернув шею к зеркалу, пудрились ки-

сточкой, чтобы растереть густо наложенные местами румяна; в эту минуту, по всему театру разносился стук дверей, скрип дверных петель, шум платьев, шепот, оклики, клятвы и отдаленное журчание сыгрывающегося оркестра — эта деловая горячечная суетня, смешанные звуки, предшествующее началу каждого спектакля и напоминающие собою штурм корабля.

— Браскасу!

— Трезор?

— Уже был звонок?

— Ты оглохла?

— Я теряю голову, послушай! Взгляни, хорошо ли я загримировалась?

— Ты очень бледна. У тебя вид честной женщины. Да что с тобою? Это глупо. Травиата красивая девушка; прибереги чахотку к последней картине; я нарочно для этого изобрел особую мазь: «Кольдкрем для чахоточных». Но когда ты выходишь на сцену в первом акте, ты должна быть пьяна; подкрась зрачки и придай огня глазам. Вот, теперь лучше. Да прикуси губы, чтобы они имели вид губ, на которых осталось несколько оставшихся на них капель вина. Ведь, скажут, что ты никогда не играла свадьбы, мой ангел! Ба, да ты выпустила наружу рукава, рубашки! Точно школьница. Тогда видна будет одна шея! Почему же уж не надеть кстати платья с высоким воротом?

— Спрячь мне рубашку за корсет. Осторожнее, глупый!

Ты мне царапаешь спину своим перстнем.

Трезор — это была Глориана Глориани, которая в этот вечер дебютировала в Итальянском театре. Так как она только что приехала из Вены, сопровождаемая громкой славой, то ей отвели ложу-будуар, предмет зависти всех примадонн, где знаменитый Альбани гримировался в Arsace, а худенькая Патти одевалась в Розину. Перед высокой статуей Психеи, между двумя газовыми рожками, бросавшими яркий свет, среди беспорядочно разбросанных пеньюаров и отброшенных ногою юбок, она — высокая, белая, юная, полнокровная и как бы торжественная — красовалась полураздетая, с распущенными густыми прядями рыжих волос.

Что же касается Браскасу, то это был парикмахер и костюмер Глорианы одновременно, старый и некрасивый, миниатюрный, с маленькими, острыми, налитыми кровью глазами, с переломленной в какой-то давнишней истории носовою костью и расширенными, как-то в бок смотревшими ноздрями, набитыми табаком. Некогда и он был любовником Глорианы.

— Ну, теперь платье! — Сказала она, обминая обеими руками складки юбок по сторонам. — Ну, где же оно? Верно, ты оставил его в чемодане, дурак. Хорошо оно будет, нечего сказать! Да скорее же! Дождусь ли я его сегодня?

Браскасу вытащил из чемодана корсаж и атласную юбку цвета морской волны вместе с другой тюлевой юбкой, отделанной бесчисленными оборками.

— Гм! — промычал он пристыженно.

— Да это не мое платье! — закричала она.

— Это даже и не твой чемодан…

— Ты опять сотворил какую-то глупость.

— Ах! Пожалуйста, не дурачь меня, ты знаешь! Я сам положил сегодня в чемодан костюм для «Травиаты» и проводил артельщика до дверей театра.

— Ступай же, сойди, разузнай. Верно, привратник ошибся; вместо моего, внесли этот чемодан. Да поторопись же, Браскасу! Ведь, уже был звонок.

Он вышел, ругаясь. Вернулся скоро, ведя впереди себя костюмершу, и сказал, взволнованно, обращаясь к Глориане:

— Знаешь, это изумительно!

Костюмерша объяснила, что артельщики, действительно, внесли в театр чемодан мадемуазель Глорианы, но что потом явился лакей в ливрее, с большим сундуком. Он сказал: «Госпожа ошиблась», и унес чемодан, приказав внести немедленно сундук в будуар дебютантки.

— Какой-нибудь фарс! — воскликнул, весь бледный от гнева, Браскасу.

— Чтобы помешать мне дебютировать!

— Ты будешь дебютировать… хоть голой, если это будет необходимо.

— Беги в гостиницу. Принеси другое платье, все равно какое-нибудь. «Травиату» можно играть и в современных костюмах.

— А время? Разве у меня есть время? Слышишь: три удара. Начинается увертюра, а ты играешь в первом акте!

Глориана, полунагая, сжала кулаки, гневно сверкая глазами и закусив губу; а он, ходя взад и вперед, передвигал стулья, вертел пальцами правой руки, страшно щурил глаза, открывал рот, обнажая десны, и вообще, походил на обезьяну, готовую укусить.

Театральный гарсон пробежал по коридорам, крича: «На сцену, дамы!»

Занавес подняли; нужно было, чтобы Травиата, с несколько растрепанными волосами от смеха и вина, появилась среди восхищенных гостей и спела заздравные куплеты, поднимая золотой кубок!

Костюмерша предложила сходить в магазин костюмов и поискать там между прочим хламом чего-либо подходящего… Какие-то обноски? Для Глорианы? Браскасу просто готов был задушить костюмершу за эти слова.

Раздались звуки хоровой песни. Второй режиссер полуотворил дверь: «Сударыня, вам выходить!» и быстро скрылся.

— Я пропала! — воскликнула Глориани.

— Проклятье! — вскричал Браскасу, разбивая кулаком какую-то безделушку на камине.

Хоровая песня усиливалась. Это была прелюдия, последний аккорд которой служит репликою, при входе Травиаты. Сам директор, маленький старичок, ворвался в ложу.

— Ну, что же случилось? Вы с ума сошли? Вы пропустите

свой выход!

— У меня украли чемодан! Велите переменить имя на афише.

— Нет! — закричал Браскасу.

Он схватил шелковое платье цвета морской волны и тюлевый шлейф, набросил его на Глориану, выталкивая ее в коридор, одел ее на ходу, пришпилил обе юбки, пока она возилась с рукавами, сложил буфами оборки уже на лестнице кулис, толкнул ее еще раз, не успев даже стянуть корсажа и закричал: «Ты точно голая — будешь восхитительна!» и, вслед за новым толчком, она очутилась на сцене.

Потом он почти упал на стоявший тут стул и отдувался, как бык.

Она, очутившись на сцене, подбежала к столу, подняла золотой кубок и, выделывая руладу, уловила ноту скрипки, брошенную ей оркестром, точно птичка, вцепившаяся в листок, уносимый ветром.

Вся растрепанная, с распустившимися волосами, с обнаженным телом, ослепительно белым, при полном освещении, она походила на знойную вакханку; ослепленная внезапностью своего выхода, смущенная сознанием того, что на нее смотрят тысячи безумно горящих глаз — она почувствовала себя до последней степени опьяневшей; она набросилась на музыку, как кидаются в пламя, в ужасе, растерянно, восхищенно, с необычайной силой в голосе и с обнаженной красотой!

В зале на минуту водворилась тишина, вероятно, от изумления; потом — как только Глориана закончила последнюю руладу, раздался взрыв рукоплесканий — восторженных, бешенных, не прерывающихся рукоплесканий; — а Браскасу, сидя на стуле, изнемогал от восторга, повторяя:

— Дорогое сокровище!

Кто-то положил ему руку на плечо; то был директор.

— Замечательно хороша! — сказал он. — Не признающая традиций, но прелестная.

— Я это знаю! — вскричал Браскасу.

— Верный успех. Это правда, но игра опасна.

— Какая игра?

— Успех и, в то же время, скандал. Авансцена недовольна. Маршал хмурил брови и кусал усы с таким видом, который не обещает ничего хорошего. Черт возьми! Я завишу от него; он министр изящных искусств. Правда, что графиня Солнова смеялась до упаду.

— А! Да, — сказал Браскасу. — По поводу дурно стянутого корсажа. Что же делать! Это не наша вина.

— Дело идет не о корсаже, но обо всем туалете, вообще. О! Вы очень смелы. Пусть так, но это безобразие.

— Я не понимаю, — сказал Браскасу.

— Вы отлично понимаете. Ведь, вы заметили, что Глориана походит…

— На кого же?

— Вот невинность! На королеву, черт возьми! И вы ска-

зали себе: «Воспользуемся случаем». Я вас не порицаю; билеты будут легко распродаваться. Однако, вы зашли слишком далеко. Не нужно было того, чтобы Глориана была одета, именно так, как королева, третьего дня, на балу в Помпейском доме.

Браскасу изумленно взглянул на него широко раскрытыми глазами. Очевидно, изумление его было искренно. Директор подал ему газету, указав пальцем на одно место статьи. Браскасу прочел:

«На ее величестве было надето бледно-зеленое морского цвета атласное платье без рукавов, короткая юбка, которая была подхвачена в нескольких местах гирляндами морских растений…»

Он уронил газету.

— Бог мой! — вскричал он, — что все это значит?

Глава пятая

Браскасу, парикмахер мадемуазель Глорианы Глориани, имел свою историю, которую стоит рассказать.

Однажды, вечером, капрал тулузского гарнизона — это было уже давно — прогуливался вдоль канала, невдалеке от статуи Рик*е*.

Там в городе, на площади Капитолия, барабан пробил сбор. Капрал продолжал свою прогулку, с чувством удовлетворения; он заручился позволением отлучиться до десяти часов; при том же, он ожидал мадемуазель Миону, хорошенькую служанку, родом баску, которая обещала выйти к нему, когда улягутся спать господа.

Она пришла. Маленькая, худенькая, сухая, с жесткой кожей, усиками и темным родимым пятном в углу рта, точно мавританка, под красным фуляром, словом, она была то, что называется: пикантная брюнетка. Он, с глупым и радостным лицом, она, почти некрасивая, они обожали друг друга, что бы там ни говорили; ведь, потребность любви пристраивается туда, куда может. Когда они уселись — капрал на каменной скамейке, Миона — на его коленях, она вдруг с живостью обернулась и сказала:

— Слышишь?

Послышался шум, будто от падения какого-либо предмета в воду. Затем, они увидали быстро убегающую женщину,

которая бросилась в переулок, по направлению к городу.

У капрала промелькнула мысль побежать за нею, но в эту минуту раздался тихий стон, со стороны канала.

— Ребенок! — воскликнул капрал.

— И, кажется, мальчик! — подтвердила Миона.

Они подошли к берегу, почти залитому водою, потому что шлюзы были заперты. На неподвижной поверхности воды что-то барахталось в вечернем полумраке, что-то небольшое и белое, с виду похожее на полную корзинку белья, дерева которой не было видно. Оттуда слышались крики. Так как этот род лодки держался довольно близко к берегу, то капрал легко мог зацепить его концом своей сабли и притянуть к себе.

Действительно, то была корзинка, а в ней почти голое существо, сплошь покрытое тиною, которое, чуть не задыхаясь, держало кулачки около открытого рта, и личико которого, все в морщинах, напоминало старое яблоко.

— О, какой птенчик! — воскликнула Миона.

Он был отвратителен. Но все женщины имеют какую-то особенную нежность к новорожденным; нет ни одной из них, которая, при взгляде на ребенка, не ощутила бы в себе этого материнского чувства.

Капрал выказал более холодности.

— Отнесем его к комиссару, — сказал он.

На самом деле, он просто был взбешен тем, что помешали их свиданию. Ведь, могла бы эта женщина бросить подальше

своего ребенка. Скучно выказывать сострадание в то время, когда некогда.

Произвели розыски. Отыскали мать: бедную женщину из улицы Садовников, уже немолодую. Однажды, вечером, в белом пеньюаре, с густым слоем дешевых румян на щеках — кирпичный порошок, застрявший между морщинами — она просунула голову в полуоткрытую дверь ярко освещенной танцевальной залы и делала знаки тем мужчинам, которые были в блузах и носили красного цвета брюки. Студенты не хотели иметь дело с такой женщиной, у которой не было ни волос, ни зубов.

Прошлое этой несчастной? Она сама забыла его. Она была отребьем, случайно попавшим сюда; гнилой упавший плод, у которого нет ветки. Обыкновенно, такие женщины, как бы в силу жалости к ним судьбы, не имеют детей. У нее, к удивлению, был один, на сороковом году. А отец? Но разве его можно знать? Однажды, кто-то спросил у мальчика, сына подобной гуляки:

— А что ты делаешь по вечерам, малыш?

— Вечером мама, укладывает меня спать, а сама идет искать папу, — отвечал ребенок.

Вот такой, именно, отец и был у новорожденного, брошенного в канал. Мать, как только ее стали допрашивать, призналась в своем преступлении; у нее не было раскаяния в своей вине; ни малейшего угрызения совести в этой темной душе; ведь лучи совести не так многочисленны, чтобы одни

из них могли светить в то время, когда другие уже угасли, нет, этот свет угасает весь целиком и сразу.

Однако, когда матери сообщили, что сын ее спасен, она сказала:

— Ну, тем хуже для него!

Ее судили, и она была приговорена к пятилетнему заключению. Она умерла в центральной тюрьме Нима. Что же касается мальчика, его поместили в приют найденышей, и он не умер, потому что, несмотря на ужасную худобу, оказался живуч.

Он вырос, стал еще не красивее и находился в большой немилости у благочестивых сестер. Злобный, малорослый, мрачный в такие годы, когда дети, обыкновенно, веселы, он вечно сидел где-нибудь в углу, задумчиво, вполуоборот, с таким видом, точно готовился тотчас же уйти вглубь самой стены. Глаза его вечно болели, на губах были болячки.

— Это у него в крови, — говорили сестры. И они не ошибались.

Этот ни в чем неповинный ребенок, сын гуляки-пьяницы — отца и женщины — отбросов общества — уже с младенчества носил в себе зародыши порока. За это-то, именно, и ненавидели его благочестивый сестры. То, что должно было вызывать сострадание, наводило ужас на черствые сердца дев. Эти болячки, превратившиеся позднее в язвы, были неизгладимыми следами материнского разврата; этот болезненный недоносок проститутки являлся олицетворением

уродливости и отвращения. Это было отвратительное творение разгневанной природы, осуществлявшее собой идею Божеского мщения и кары виновной.

Он, всеми битый, удивлялся, не понимая, почему его бьют за то только, что он болен.

Случилось так, что, однажды, какой-то хозяин скорняжного заведения, нуждаясь в мальчике, пришел в этот приют. Ему предложили взять Браскасу. Браскасу и был тот всеми битый и никем не любимый ребенок. Он так и не узнал никогда, почему ему дали это прозвище, известно, только то, что он не имел другого, со дня своего поступления в приют: ведь, сельский жаргон очень своеобразен.

— Тот или другой, мне все равно, — ответил на предложение скорняк.

Сестры предпочли отделаться от этого грязного оборвыша.

Сначала, увидев худого, гадкого на вид мальчика, с больными глазами, болячками на голове, скорняк сделал гримасу.

— Ба! — сказал он, — запах кожи полезен для здоровья, это переменит его характер.

И он увел его, дав предварительно, ради шутки, две затрещины.

Таково было начало ученья.

До этого времени, Браскасу был бит, но никогда не работал. Теперь должен был работать, не переставая быть битым.

Это показалось ему чересчур жестоким. Побои после работы, вместо награды, изгладили ту смутную идею о добре и зле, которая, слабо, как мерцающий свет, пробудилась, было в нем; этот, едва загоревшийся, проблеск света тотчас же потух.

Удивление сменилось гневом и желанием самому причинять зло другим. Он так и сделал. Лишь только патрон отворачивался, он тотчас же быстро рвал какую-нибудь ценную кожу, а когда начинались розыски виновного — он указывал на другого ученика, большого болвана, скорее глупого, чем доброго, который, не понимая, в чем дело, принимал вину на себя. Затем, в его голове зародились и грязные мысли. Не только тело, но и душа его была заражена проказой.

Однажды, проходя улицей Садовников — шел он по делу хозяина — он остановился, разразившись смехом, перед двумя полуотворенными ставнями, будто узнал их, увидал нечто знакомое. Он был презренный негодяй, вечно толкавшийся по грязным местам, писавший ругательные слова пальцем на стенах, выкидывавший различные грубые фарсы, отыскивавший всякие нечистоты для того, чтобы бросить их в приготовленный хозяйкой горшок с кушаньем, и потом посмеивавшийся втихомолку, когда за обедом или ужином, скорняк, чувствуя тошноту, выплевывал говядину в тарелку; все эти шалости довели до того, что хозяин, в один прекрасный день, выгнал своего ученика на улицу, предварительно намявши ему бока колодками сапогов. Такая развязка была

лишь логическим результатом предыдущего. То, что началось с пощечин, закончилось ударами сапога.

И вот, он, пятнадцатилетний, худой, со слезящимися, больными глазами, с гневно сдвинутыми бровями, бледными губами и темной, с отпечатками заживших ран кожей, стал бродить по улицам в дырявых, протертых на коленях, брюках.

Однажды, проходя по базару, на улице Ротте, он увидел в одной из лавок зеленый ящик со щетками и банками ваксы. В лавке не было ни продавца, ни покупателей. Он подошел к ящику, полюбовался им, провел рукой по щетине и, не будучи никем замечен, унес с собою эти вещи. Сделал он это безо всякой задней мысли, просто, ради удовольствия украсть; но не пожелал продать ящик и оставил его у себя. Иногда случайность помогает отыскать свое призвание.

На другой день, Браскасу уже сидел на углу площади Лафайетт, возле гостиницы Капуль, поставив перед собою новенький, резко кидающийся в глаза прохожих, ящик со щетками: Браскасу, с этих пор, сделался чистильщиком обуви.

Он был счастлив. Теперь свободен! Ни монахинь, ни хозяина! Лежа на животе, уткнув нос в теплый песок и подставив спину жгучим лучам полуденного солнца, он с наслаждением предался ленивой неге, изредка следя глазами за своею длинною тенью, перепрыгнувшею через шоссе; это сладостное безделие нарушал он лишь тогда, когда нужно было обтереть пыльные сапоги какого-нибудь прохожего, или хоте-

лось послушать росказни извозчиков, с кнутами в руках стоявших около своих фиакров.

Он вкусил теперь всю прелесть ничегонеделания: сладость грез! Этот неизбежный спутник юношеского возраста пробуждал в нем по временам инстинкты любознательности.

Чаще всего два предмета останавливали на себе его внимание: большая желтая, с черными крупными, буквами, театральная афиша, прибитая к стене гостиницы, и парикмахерская — на другом углу — где висели завитые парики и длинные косы, между которыми, непрерывно повертываясь, помещались два женских бюста, сверкая белизной и румянами, с чересчур декольтированными шеями. Театр! Женщины!

Глядя своими подслеповатыми глазами на афишу, он представлял себе оживленные лица суетливых людей. Хотя ему ни разу не приходилось еще побывать в залах театра, но он, на основании слышанного, рисовал в своем воображении блестящие кенкеты, яркое пламя люстр, расписанные потолки, роскошные туалеты сидящих в ложах дам; а там, вдали, на ярко освещенной сцене, далекие очертания фигур, поднимавших кверху, из под волн тюля и кружев, полные руки, открывавших рот, из которого вылетали дивные, мелодические звуки — казалось, то были не люди, а какие-то боги.

К подобным иллюзиям иногда примешивались воспоминания из его жизни в обители благочестивых сестер.

Когда же зрачки его до того утомлялись однообразным ви-

дом афиши, что имена актеров начинали казаться ему начертанными огненными буквами, тогда он опрокидывался навзничь и, положив голову на зеленый ящик, будто видел стоявшего вверху, в сиянии, Иисуса, в терновом венце, пригвожденным к золотому кресту и распевавшим хвалебные гимны.

Но почему то лицо Иисуса представлялось ему в виде первого тенора, с лорнеткой на носу, которому Браскасу уже несколько раз чистил сапоги на площади Лафайетта.

В этих видениях рисовались ему и женщины, но, преимущественно, в образе тех двух кукол, которые, за витринами парикмахерской, выставляли напоказ свои восковые торсы. Женщины эти тоже пели, волоча по мозаичному полу шлейфы своих атласных ярких платьев, но сквозь эти платья он угадывал нагие формы, которые ослепляли его не менее, чем вся роскошь и пестрота их нарядов.

Выйдя из-под обаяния грез и вернувшись к жалкой действительности, он снова видел перед собой желтую афишу и механически двигающиеся бюсты. При этом, он протирал глаза, тер уши и апатично садился снова на ящик.

Однажды, чистя сапоги тенору, он сказал ему:

— По два су в день — это в неделю составит 14 су. А цена билета третьего ряда галереи, именно, 14 су. Я в течение семи дней буду даром чистить вам сапоги, если вы дадите мне билет за эту цену.

Тенор громко расхохотался и, сказал:

— Так ты любишь театр, малютка? Приходи сегодня ве-

чером, назови мое имя контролеру, и тебя пропустят.

Сильно обрадованный и внезапно охваченный желанием быть великодушным, Браскасу вылил целую коробку ваксы на сапоги тенора и до того навел на них глянец, что в них, как в зеркале, ему представилось отражение вертящихся кукол.

Но когда, очутившись в театре, он увидал актеров и актрис, то это произвело на него грустное впечатление, и он стал к ним крайне равнодушен и даже казался печальным. Ему сразу бросились в глаза — некоторые люди обладают такой способностью быстро, всесторонне схватывать предмет — и грубые краски декораций, и слишком яркие румяна женщин, и лоскутные, увешанные погремушками и позолотой костюмы мужчин. Будь он ребенок-поэт, тогда мечты пересилили бы действительность, и в колебании газовых женских юбок воображение помогало бы ему увидеть взмахи ангельских крыльев, а вместо густого слоя румян — неподдельный румянец юности. Он же, дитя грубых инстинктов, в котором лишь на минуту сказалась восторженность юноши, он сразу понял истину и, после минутного раздумья, помирился с ней.

Раз запавшее сомнение мгновенно охватывает всю душу; подобно тому, как красивый мыльный пузырь, лопнув, превращается в мутные капли, так, именно, от соприкосновения с действительностью, рушатся воздушные замки упорных мечтателей.

Каждый поэт — мечтательный ребёнок, преобразивший-

ся во взрослого мужчину.

Худо или хорошо, но Браскасу раз и навсегда постиг то, что называется истиной, свыкся с нею и полюбил ее. Почем знать, быть может, его мать тоже любила истину. И вот, сын проститутки отыскал то, чего не хотят видеть многие, и пошел по следам своих предков.

Почти каждый вечер он заходил в театр, незадолго до окончания спектакля, выпрашивая для этого контрамарки у соскучившихся зрителей. Через какое-то время, он настолько освоился в театре, что чувствовал себя, как дома; то критиковал манеру пения лучших певиц, то порицал баритона; аплодировал и освистывал зачастую потому только, что подучал за это плату.

Сделавшись вожаком партии подобных себе негодяев, он стал представителем особого рода власти, с которой приходилось считаться артистом, в дни своих дебютов. Постоянные абоненты давно уже ознакомились с этим тщедушным безобразным созданием и знали его привычку сидеть, положив подбородок на свои кулаки; если он делал недовольную гримасу, то все говорили:

— Будут освистывать.

К актрисам, впрочем, он был снисходителен, досадуя лишь на то, что не имел возможности сидеть в креслах у оркестра, откуда виднее наблюдать за ножками танцовщиц, ни на авансцене, чтобы заглядывать за корсаж. Особенно же был снисходителен к певицам, отличавшимся своею толщи-

ною.

Однажды, ему предложили пять франков за то, чтобы он освистал одну толстушку; деньги он взял, но аплодировал ей очень усердно, за то, что толщина рук этой дебютантки равнялась толщине ног, которые она поднимала очень высоко. Скоро этот капризный, грубый, беспощадный человек сделался пугалом для многих.

Случилось ему переходить площадь Лафайетт, где он опять увидел желтую афишу и двух вертящихся кукол; остановившись перед ними, он как бы устыдился самого себя — то было последний раз в его жизни — разорвал афишу, плюнул на витрину и, нажав плечами, пошел далее. Со всем этим счеты были покончены.

Теперь его занятие состояло в том, что, ходя взад и вперед по тротуару, с заложенными в карманы брюк руками, в распахнувшейся блузе, он караулил у подъезда театра или консерватории входящих артистов и предлагал им доставить письмо или присмотреть за любимой женщиной. Его скоро приметили.

Влюбленные в хористок студенты обращались к его посредству, но с некоторой робостью, как к какому-либо должностному лицу. Все знали, что он был в приятельских отношениях с консьержем театра. Входя за кулисы, он окружал себя какой-то таинственностью. Когда же он возвращался оттуда с ответом и ожидал, переступая с ноги на ногу, обещанной монеты, взволнованные юноши смотрели с удивлением

и даже с некоторым страхом на того, который так спокойно проник в этот чудный театральный эдем; и в его лохмотьях им чудился запах запрещенного плода.

Однажды, вечером, выйдя из-за кулис, с запачканным пудрой рукавом блузы, он вскричал на парижском наречии — так как, с некоторых пор, отрекся от своего сельского жаргона:

— Ба! Они целовали меня!

С этой минуты, ему стали завидовать. Это льстило ему и удовлетворяло его честолюбие. С помощью интриг, он сделался фигурантом, потом хористом, так как у него был слабый голосок. Теперь он также, носил расшитые золотом и галунами платья и, стоя вблизи рампы, очень заботился о своих жестах, стараясь держать себя гордо и грациозно.

Благодаря тому, что фальшивая борода скрывала наполовину его некрасивое, лицо, он очень нравился гризеткам — в то время, гризетки еще водились в Тулузе — которые по воскресеньям занимали места в галерее второго яруса. Его предпочитали даже приказчиком в пестрых галстуках и самим подпоручиком. Но, чуждый всякой аристократии, он презирал женщин, носивших на голове платки, довольствовался теми, что носили чепцы, и враждовал со шляпками.

В театре он также имел успех, прищурив глаза, раздув ноздри, он ядовито улыбался, выкидывал разные фарсы и грубо говорил: «О! гадость!» Но все это забавляло фигуранток, получавших всего лишь пятнадцать су в вечер. Он своей

особой напоминал им их родное гнездо, ведь, вид лохмотьев приятен выходцам из грязи. Кроме того, он умел ловко воспользоваться антрактом и временем их переодевания, чтобы быть возле них в эти минуты. Он брал их за талию, нашептывая, при этом, разные любезности, или запускал им свои длинные ногти за корсет, что вызывало в них взрывы хохота. Когда же в коридорах раздавался звонок режиссера, он поспешно оправлял на себе платье, говоря: «Можно ли быть таким дураком!» И пока они торопливо одевались в костюмы швейцарок или придворных дам, он не спеша расчесывал свою бороду перед зеркалом

Однако, заботясь об удовольствиях, он, в то же время, не упускал из виду и своих денежных интересов. Слишком увлекающийся, но и хороший практик, он продолжал служить посредником, одновременно, не покидая своей службы и в высших сферах. Познакомить студента с хористкой? Фи! Это свойственно рассыльным, друзьям консьержей, которые бродят по вечерам, заложив руки в карманы, около входных дверей артистов. Уже прошло то время, когда он получал лишь мелкую монету в награду за свои услуги; теперь же он не беспокоил себя иначе, как за несколько луидоров. Держа в одной руке письмо, а в другой коробку с дорогими перстнями, безделушками, он подстерегал первых лучших певиц в ту минуту, когда они выходили из лож, следовал за ними и, сделав им знак, перешептывался с ними на ухо. Таким образом, он приобрел популярность сваей профессии, сделал-

ся деятельным посредником между свободной молодежью и закулисной проституцией. Все знали, что в этих делах нужно обращаться, именно, к нему, так что он занял как бы некоторое официальное положение в этом кругу.

В начале театрального сезона, ни кто иной, как Брискасу, с беспристрастием, которое хорошо вознаграждалось впоследствии, помогал распределению красивейших женщин трупы между городскими «господами». Зарабатывая много, он был крайне скуп и никогда не истратил ни гроша для подарка какой-либо фигурантке, ни разу не купил вишень ни одной гризетке квартала Полигон. Поэтому-то, однажды, в воскресенье — ему тогда было двадцать пять лет — его увидели прогуливающимся в аллеях Лафайетт, в часы, когда играла музыка, одетым в сюртук, черную шляпу, с перстнями на пальцах, с золотой цепочкой на животе, беззаботно помахивающим своею тростью с дорогим набалдашником между двойным рядом стульев.

Фортуна ослепила его. Честолюбию не было границ. Он отказался от обязанности фигуранта, которая отнимала у него много времени и отдался исключительно своему главному промыслу. Расширял круг своего знакомства, вступил в дружбу с богатыми студентами, которым он служил развлечением, и, благодаря своей неустанной болтовни, проник в аристократические кружки. Готовый на все и ничем не брезгующий, знающий хорошие места для ужина и грязные — для любовных похождений; умелый в составлении меню и

незаменимый в выборе женщин; успевший успокоить ворчливых кредиторов и жадных любовниц, игравший на бирже; часто фамильярный и всегда сострадательный, почти друг и вполне слуга, обедавший иногда в столовой и никогда не отказывавшийся сбегать в погребок, предлагавший быть вашим секундантом, и чистивший ваши сапоги в день дуэли; отличавшийся необыкновенным чутьем являться, именно, там, где нуждались в его услугах — он стал неоцененным фактором молодежи целого города.

Ему, однажды, пришлось встретиться с двумя себе подобными, такими же, как он: Минюхом и Филузом.

Минюх, длинный, худой и горбатый — нечто вроде кощея с большим узлом на спине — был человек, о котором говорили, что у него есть дела. Какие, именно, «дела» — этого никто не знал наверное. В сущности, он был агентом у двух-трех банкиров, которые ссужали молодежь мелкими суммами в экстренных случаях, беря пятьдесят на сто, и не иначе, как под залог. Ничто иное, как сбытчик старья.

Филуз, старый, в лохмотьях, грязный, с отвислой губой, с слезящимся глазом, постоянно твердивший: «Ла! Ла! Ла!» с прищелкиванием языком, идиот, ноющий, занимался, по-видимому, продажей шнурков и пакетов с английскими иголками в кафе студентов; но он никогда не продал ни одного пакета иголок, ни одного шнурка! В действительности же, он знал адресы маленьких гризеток, еще не имевших любовников или только что покинутых ими; и вот, раскла-

дывая на столах свой мелочной товар, он говорил на ухо тем людям, которые ему внушали доверие: «Ла! Ла! Ла! Маленький цыпленочек, четырнадцати лет, с ясными, как капля росы, глазами. Кто поцелует ее, тот все равно, что сорвет розу. Можно будет войти в сделку с семейством. Не дорого. В случае чего-нибудь, найдется двоюродный братец, который женится на ней, ла! Ла! Ла!

Браскасу, Минюх и Филуз — различные, но совпадающие друг с другом силы — отлично спелись между собой и, пополняя один другого, составляли чудесный ансамбль. Специальность Браскасу: актрисы; специальность Филуза — молоденькие девушки; специальность Минюха: деньги, необходимые, как в мансардах, так равно и в будуарах. Таким образом, общий барыш их достигал значительной цифры.

Но Браскасу, опьяненный успехом, пустился в предприятия. Быть может, в нем еще не совсем умер мечтатель. Он втянулся в громадные затеи; устраивал кафе-концерты, народные празднества, у городских ворот, где пили и плясали под деревьями. Тут, привязанные к правильному треугольнику мачты сверкали на солнце своими медными часами и серебряными соусниками, повещенными наверху в виде приза; битком набитые балаганы уносили, в своей бешенной стремительности, гризеток, с криком ловивших свалившиеся с них головные уборы, и парней, с веселым хохотом следивших за поднимавшимися, от быстроты взлета, женскими юбками. Там, клоуны и музыканты, наряженные гусара-

ми, оглушительно свистят в тромбоны; тележки с ясновидящими, столы шарлатанов, атлеты, фокусники, поднимающие громадные тяжести, эквилибристы, танцующие на веревке, у которых в руках, вместо балласта, огромный шест, деревянные лошади, вращающиеся в своем неподвижном галопе — полная картина бесконечного веселья; под звуки башенной музыки, где гром барабана силится заглушить дребезжащий звон бубен, на огромном костре, устроенном из двух срубленных молодых дубов, жарится целиком бык с неснятой кожей и рогами!

Но, публика, вообще отнеслась к этим гуляньям равнодушно. Браскасу не смог покрыть своих издержек на подобные затеи и ему грозили: позор, тюрьма, судебный процессе и полное банкротство. Он занял у Минюха, который отнял у него под залог все, не исключая даже вертела, на котором жарился бык.

Он надеялся вознаградить себя за эту неудачу устройством загородной увеселительной таверны, где происходили еженедельные собрания, и которую он остроумно называл «Бал у Батилля»: туда могли являться люди и без верхнего платья.

Сначала, это предприятие имело успех, благодаря многочисленности посетителей известного сорта, но секрет хранился недолго, и в дело вмешалась полиция. Пронесся слух, что загородными сторожами был найден, однажды, утром, позади кабачка, в придорожной канаве, молодой человек,

задушенный с помощью подвязки, которая была найдена у него на шее.

К счастью Браскасу, на публичном разбирательстве этого дела, в нем оказался скомпрометированным дядя префекта, очень уважаемый всеми старик. Телеграфировали об этом министру юстиции, и тот ответил шифрованной депешей:

«Прекратите дело». Однако, организатора этих венских вечеров попросили выехать из города и даже из Франции. Минюх и Филуз проводили его до заставы, со слезами на глазах. Он уехал в Испанию, вспомнив об одном из своих друзей — торговом агенте, который, обанкротившись, открыл банкирскую контору в Пампелуне. Он надеялся на помощь этого друга: у каждого свои иллюзии. Взяв билет на поезд он сказал: «у меня нет более ни гроша»; и он попросил луидор у Минюха, но тот, как нарочно, забыл взять с собою свое портмоне; Филуз, рыдая, отдал Браскасу два франка.

— По крайней мере, ты купишь себе табаку, ла! ла! ла!

В Пампелуне, изгнанник не нашел своего друга: банкрот был обвинен, как фальшивомонетчик.

— Проклятье! — вскричал Браскасу, узнав об этом, — неужели же я должен околеть с голоду?

Он обманул Минюха и Филузо: у него еще было двести франков, но этого было очень мало. И он стал ходить по городу, всматриваясь, вслушиваясь, стараясь подметить в этих незнакомых еще ему нравах жителей возможность какого-либо промысла для себя. Он был теперь в таком поло-

жении, при котором человек не брезгует ни чем, жертвуя даже честью. Но Пампелуна носит на себе отпечаток замкнутости, суровости и почти враждебности. Мрачные, темно-серые фасады домов с вечно спущенными жалюзи на окнах; двери отворяются редко и быстро захлопываются; всюду заметно желание отказать в приеме и даже решимость оттолкнуть от себя. Он шел наудачу, озабоченный.

На большой квадратной площадке, окруженной сводами и усаженной молодыми деревцами, угрюмыми и холодными, не чувствовалось ни малейшего признака радости, жизни:, только двое или трое дурно одетых детей шли друг за другом, даже не бегая; на каменной скамье лежал мужчина, прикрытый старым одеялом и полуприщуренными глазами следил за поднимавшимся кверху дымом своей сигары. Могильная тишина, ни стука проезжающей кареты, лишь, изредка доносится глухой, тихий шум шагов прохожих по мостовой. Жизнью дышала лишь одна лавка, приютившаяся в углу площади, в углублении свода; это была цирюльня, откуда слышался шум крикливых голосов и оживленные жесты посетителей. Вероятно, там, именно, и сгруппировалось все оживленное городское население; Браскасу дал себе слово наблюдать за этой лавочкой. Он продолжал бродить по улицам, по которым изредка проходила какая-нибудь служанка, с медным ведром на голове.

Вдруг он остановился, почти ослепленный. Перед ним, при ярком солнечном свете, обрисовалось громадное, изу-

мительное красное пространство, жгучее, неотразимое, которое застилало ему глаза, как бы от внезапного прилива крови к голове; оно имело сходство с полем, покрытым кровью от недавнего жертвоприношения, или с равниной, сплошь усеянной пионами; мелькнула было мысль о жатве цветов.

Браскасу всмотрелся внимательнее.

Это был рынок, сплошь уставленный грудами индейского красного перечного дерева, которое составляет любимую приправу бедных классов северной части Испании. Позади корзин с плодами сидели продавщицы в лохмотьях, а хозяйки, то останавливаясь, то торгуясь и подтрунивая; но вся пестрота красок поглощалась одним ярко-красным цветом, напоминающим кровь.

Однако, подобно восходящему на горизонте солнцу, окруженному светло розовыми облаками, на этом красном фоне выделился белый женский лоб, осененный золотистыми волосами; высокая, необычайной белизны, с длинными густыми рыжими косами, она подвигалась вперед, вся светящаяся, с видом Форнарины, нарисованной на красно ослепительном пурпурном фоне.

Она проходила далее.

Браскасу заметил, что другие женщины отворачивались от нее, давая ей дорогу и присоединяясь к продавщицам, скрывавшимся за грудою перечного дерева; площадь как бы опустела, и мгновенно воцарилась тишина: проходившая

женщина осталась одна, как единственное пламя на жертвенном алтаре.

Она на минуту приостановилась, презрительно закусив свою полную коралловую губу, и окинула рынок ненавистным и недоверчивым взглядом; затем, пошла далее.

Он последовал за нею, удивленный. Теперь он не видел ничего, кроме очертания тяжелых кос, спускавшихся на затылок.

Заметил он также и то, что люди скрывались при ее появлении. Там, где за минуту болтали трое кумушек, теперь не осталось ни одного человека; доносился резкий шум захлопывающихся ставень; одна безобразная старуха бросилась к мальчику, игравшему посреди улицы, и бегом унесла его домой; какая-то служанка выбросила к ногам прохожей всякий сор и вонючие куски объедков, очевидно, стараясь сделать это на смех.

Высокая женщина продолжала, не спеша, идти далее; только она несколько вытянула шею, взглянув вверх на служанку; Браскасу видел, что в ее взгляде все еще светилось недоверие, а на губах скользила презрительная улыбка.

В этом опустевшем и мрачном городе, она походила на королеву, проходившую по своей столице, на другой день битвы, презираемую и торжествующую.

Она повернула в узкий, отделенный высокими стенами, переулок. Ни дверей, ни окон: точно очень длинный коридор под узкой полосой неба. Она ускорила шаги и очутилась на

зеленом лугу, который, постепенно повышаясь, ведет к черному крепостному валу, за чертою города. Ни одного дерева. Виднеются лишь два огромных столба заставы, поднимающиеся высоко к горизонту, с падающими от них цепями.

Она остановилась среди луга, перед небольшим, низким, четырехгранным зданием, с двумя окнами, невзрачного вида, с соломенной крышей, полу истрепанной ветром. Это был мрачный, некрасивый, сероватого цвета дом, но на окнах висели занавесы ярко-красного цвета.

Прежде, чем войти, женщина обернулась; Браскасу мог теперь разглядеть ее вблизи.

Скорее плотно закутанная — чем одетая — в шелковое серое платье, из самой тонкой блестящей материи, которая без всяких складок плотно охватывала горло и бока и тесно прилегала к телу; она, действительно, была полна какой-то победоносной красоты, со своими густыми, золотисто-рыжими волосам, с большими светло голубыми, ясными и глубокими глазами, с широко раздувавшимися при дыхании, ноздрями и ртом с пурпуровыми губами, походившими на зарумянившуюся ягоду, толстыми полуоткрытыми губами, с выражением какого-то высокомерия, в целом однако, выходило нечто повелительное и животное.

Она оглядела Браскасу и захохотала каким-то глухим, жгучим смехом, обнаружившим ее зубы — то был смех обрадованной волчицы.

Потом проговорила:

— Ты чужестранец!

Как большинство жителей южной Франции, Браскасу довольно хорошо понимал испанский язык и даже умел объясняться на нем, с примесью родного наречия, однако так, что его можно было понять.

Но теперь он не сразу ответил: этот резкий вопрос и неожиданное «ты» поразили его.

Она продолжала:

— Француз!

Он овладел собой, так как был не из числа тех, которыми надолго овладевает чувство удивления; привыкший к приключениям, он быстро осваивался с неожиданностями.

— Француз, — отвечал он, — даже больше, чем француз — гасконец.

— Ты следовал за мной?

— Да, Боже мой.

— Зачем!

— Потому что ты прекрасна!

— Да, я прекрасна, но ты безобразен. Итак, я тебе нравлюсь?

— Боже мой! — вскричал Браскасу.

— Ну, так приходи сегодня вечером, — сказала она, рассмеявшись своим бесстыдным смехом.

Потом, она вошла в дом и затворила за собою дверь. Он остался один на лугу, как то растерянно смотря на стены.

Несмотря на всю свою привычку к различным случайно-

стям, такая поразительная невероятность, доведенная до абсурда, смутила даже его до последней степени.

Это приключение до того заинтересовало его, что он не думал более о неопределенности своего положения в незнакомом городе, о своих пустых карманах. Что это за странная женщина, при появлении которой воцарились тишина и опустошение, будто от призрака чумы, проносящегося по местечку? Зачем она сказала ему с таким странным смехом: «Приходи сегодня вечером!»

Он осмотрелся кругом себя, ища кого-нибудь, чтобы расспросить о ней. Ни одного живого существа — лишь там, вдали, часовой ходит взад и вперед от одного столба до другого. Ему подумалось, что этот солдат мог знать обитательницу дома с красными занавесами, и направился к заставе.

Скука праздности располагает к болтовне с прохожими; солдат не заставил себя просить и сам вступил в разговор с Браскасу; предложил папироску и взял взамен сигару — скоро они стали разговаривать, как самые близкие друзья.

— Кстати, товарищ, не знаете ли вы, кто живет там, в том домике?

Солдат побледнел, потом, как бы почувствовав себя глубоко оскорбленным, подошел прямо к незнакомцу и направил на него острие шпаги. «Тупая обезьяна!» подумал Браскасу и бросился прочь от него; он вовсе не хотел подвергать себя опасности ради любопытства.

Тут он вспомнил о лавочке цирюльника, болтливой и

шумной; вероятно там легко будет получить нужные указания. Браскасу вернулся в город и направился к площади; вероятно, ему необходимо было побриться.

Но, войдя под своды, он сделал жест разочарования: лавочка почти опустела; это был не тот час, в который, обыкновенно, бреются и стригутся жители Пампелуны, читая газеты, или, в ожидании своей очереди, рассуждают о политических новостях, иногда с оглушительным криком и жестами трибуны. Цирюльник стоял возле единственного своего посетителя, которого он молча брил и охорашивал, с какой-то почтительной серьезностью.

Все-таки, Браскасу вошел и, в ответ на вежливое приглашение цирюльника, сел перед мраморным столиком, над которым висело зеркало; но, через несколько минут, он почувствовал себя, как-то неловко. Не зная, куда уставить свои глаза, он стал разглядывать прейскуранты парижских салонов косметики, золотые рамки которых симметрично красовались по всем стенам лавочки; мельком взглянул он также и на человека, которого брили.

Это был человек, около шестидесяти лет от роду, лысый, с бахромкой седых волос на черепе, спускавшихся до ушей и даже на затылок, вроде какого-то чересчур широкого для головы чепца. Внушительного вида, одетый весь в черное, он должен был быть значительным лицом в городе; вероятно, чиновник.

Несколько обеспокоенный присутствием такого важного

лица, Браскасу не спешил вступить в разговор с цирюльником, который, к тому же, осторожно водя своей бритвой по намыленному подбородку клиента, казался глубоко погруженным в это занятие и прерывал его для того лишь, чтобы произнести, с низким поклоном, чуть не касаясь до земли:

— Не соблаговолит ли дон Жозе отклонить шею назад! — Или: — Пусть дон Жозе позволит мне поднять его голову за кончик носа!

Тогда дон Жозе откидывал шею, позволял брать себя за нос, с какой-то высокомерно-снисходительной усмешкой.

Наконец, Браскасу решился быть мужественнее. Извиняясь — предварительно за плохое знание испанского языка, он объяснил, что, сегодня, утром, в первый раз приехал в Пампелуну и встретил на улице, весьма просто одетую женщину, но поразительную красавицу, блондинку, почти рыжую, и прибавил, что очень желал бы узнать…

Дон Жозе вскрикнул: бритва оцарапала ему подбородок, и капля крови окрасила мыльную пену.

При этом крике, цирюльник окончательно растерялся; он бормотал что-то, хватался за волосы и чуть самому себе не перерезал горло, с отчаянья, этой же самой злополучной бритвой. А между тем, он не был виноват в том, что его рука дрогнула: мог ли он владеть собой, когда услышал, что речь идет о Франсуэле, об этом демоническом создании, и, притом, в его квартире, в присутствии дона Жозе, в присутствии полицейского!

Повернувшись к Браскасу, он злобно вращал своими сверкающими ненавистью глазами и гневно потрясал бритвой. Полицейскому захотелось сгладить эту неприятную случайность. Он сказал ласковым, добродушным тоном, что беда не велика, так как ранка очень поверхностная; что, конечно, было бы лучше, если б этот «господин» вовсе не говорил о Франсуэле, но что это ему, как иностранцу, извинительно; кроме, того, он, — чиновник и отец семейства, смотрит на это скорее, как на невинное любопытство, чем на преступное желание; и наговорив еще много таких умиротворяющих слов, он нашел нужным сказать в заключение — и довольно сухим тоном — что если путешественник будет упорствовать в своем желании разузнать об этой «твари», то ему гораздо удобнее обратиться в другое место и к другим лицам.

Браскасу не желал ничего лучшего! Ему очень не хотелось ссориться с полицией, и тем более тотчас по приезду в Памплуну.

Поэтому, вежливо извинившись и посоветовав наложить особого рода пластырь на ранку, он уже хотел уйти из лавки, как вдруг дон Жозе вскочил со своего места и, указывая обеими руками по направлению площади, громко вскрикнул:

— Подождите, сударь! если уважение, с которым должны относиться друг к другу все порядочные люди, не позволяет нам сообщить вам, что за личность Франсуэла, мы, по крайней мере, можем указать на то, что она сделала. Быть может, этот факт послужит вам годным указанием! Взгляните, су-

дарь! Взгляните сюда! Говорю вам!

Отчасти изумленный таким торжественным заявлением, Браскасу не двигался с места; он увидел, что цирюльник упал на колени и крестился, бормоча молитву. Тогда он обернулся. По площади шла похоронная процессия; по сторонам тянулись два ряда молодых, печально стоящих деревьев.

Позади священника, одетого в креповую мантию и медленно ступавшего рядом с четырьмя мальчиками из певчих, который держал в руках серебряный крест с золотым распятием, в такт процессии, раскачивались носилки на плечах шестерых мужчин, одетых в черное; поверх гроба, покрытого длинным белоснежным покрывалом, печально красовались букеты и гирлянды белых лилий, белых роз и бледных асфоделий; за ними шли склонившиеся плачущие женщины в темных шерстяных платьях, под густыми черными вуалями, из-под которых слышались их рыдания; а дальше, по пяти в ряд, многочисленные члены различных конгрегаций тянулись длинной вереницей за траурным кортежем, пестря своими, кто синими, кто темными, кто рыжими, перевязями, перекинутыми за спину.

Полицейский продолжал:

— Дон Телло де Неура был милейший молодой человек, почти еще дитя: он подавал большие надежды своим родителям и учителям; его предназначали на служение церкви, и из него вышел бы достойный священник. Он уже был очень образован, но всегда говорил о себе очень скромно, тихим

голосом, опустив глаза в землю. Теперь он умер.

— Какая-нибудь внезапная болезнь? — спросил Браскасу, стараясь казаться опечаленным.

— Нет, — отвечал чиновник.

— Случай?

— Нет.

— Но что же случилось с этим прекрасным молодым человеком?

Дон Жозе отвечал:

— Однажды, вечером, он зашел в дом Франсуэлы.

И, проговорив эти слова, дон Жозе сделал вежливый прощальный поклон.

Браскасу, низко поклонившись, вышел из цирюльни. По правде сказать, он плохо понимал, что общего могло быть между Франсуэлой и смертью дона Телло; но зато он отлично понял, что не безопасно было расспрашивать жителей Памплелуны об этой ненавидимой всеми и прекраснейшей девушке. И он воздержался от этого. В гостинице он остерегался расспрашивать о ней хозяйку и служанок, из боязни быть выгнанным за дверь; промолчал об интересующем его и в кабаке, где ему подавали мелкий вареный горошек и котлеты, поджаренные на испорченном масле, будучи уверен, что, при первом вопросе о Франсуэле, ему швырнут в лицо блюдо с горячим маслом или с горошком, твердым, как дробинки, которые легко могли вышибить ему глаз. Но он мучился с этим вопросом с крайне несвойственной ему лихорадочной

горячностью.

Браскасу — одаренный известного рода смышленостью и, в то же время, человек скрытный, подозрительный, недалекий и пронырливый — имел в своем характере ту замечательную особенность, что не довольствовался первым явившимся у него предположением, для разъяснения чего-либо, потому только, что оно было слишком просто.

Многие, в подобном случае, сказали бы себе:

— Дело просто! красивая девушка, которую обвиняют лишь за то, что она блондинка и не имеет предрассудков!

Нет, он чувствовал, что Франсуэлу окружает ненависть совсем иного рода, чем та, которой подвергаются полные куртизанки; так как он почуял в ней редкостное создание, необъяснимое, ненормальное, быть может, восхитительное, быть может ужасное. Ведь иногда сама действительность походит на невероятное; существуют же чудовища. В то же время, хотя он и не верил в предчувствия, но как-то смутно предугадывал возможность чего-то общего между Франсуэлой, сильной и властительной, и немного тщедушным и невзрачным; лисица, в данном случае, могла сослужить службу льву.

Лишь только наступил вечер, как он отправился в переулок, тянувшийся между двумя длинными стенами. Его изумило то, что к нему прикоснулось платье священника, который спешил куда-то и опередил его. «Гм!» Но он не обратил большого внимания на эту встречу и продолжал идти в

впотьмах, ощупывая стены; вдруг на него повеяло свежим воздухом с такой силой, как это случается, когда выйдешь на широкое, чистое загородное место.

Вся, постепенно повышавшаяся, луговина чернела под низко нависшими тучами, откуда повременном раздавались глухие раскаты грома; городские укрепления в этом мраке, как-то сливались с землей и шпага невидимого часового мелькала вдали, там и сям, как движущаяся змейка, то блестевшая в воздухе, то погасавшая. Лишь два, ярко освещенных красных окна боролись с темнотой ночи. Неподвижные и прямонаправленные в сторону города они будто угрожали ему. Ему напомнили они два адских жерла отверстия, вечно открытых и всегда готовых поглотить каждого.

Браскасу обрадовался; свет в окнах доказывал, что его ждали — он пошел быстрее. — О! О! кричал он. По лугу проходили люди. Вдруг у него мелькнула мысль о возможности западни; при нем было двести франков, и он пожалел, что не оставил их в гостинице. Обеспокоенный этим предположением, он осмотрелся кругом. С разных сторон приближались человеческие фигуры, которых он, ослепленный видом красных окон, сначала, не заметил, множество людей, сошедшихся из разных частей города, отдельно идущих, — но, как казалось ему, направлявшихся к одной цели. Эти ночные гуляки описывали на ходу ту линию, которую имеет распущенный веер, отдельные части которого все вертятся на одном жолнере, а центром для них служил домик Фран-

суэлы, ярко освещенные окна которого походили и на кровь.

— Бог мой! — вскричал пораженный этим сборищем людей Браскасу.

При том же, эти люди как бы по заранее сделанному уговору старались не замечать друг друга. Они шли прямо и поодиночке. Среди торжественной ночной тишины, Браскасу слышал лишь глухой шум шагов по траве и учащенное дыхание прохожих, несмотря на то, что они ступали медленно, даже осторожно, как-то согнувшись, точно подстерегая дичь и приготовляясь внезапно прыгнуть на нее.

— А! Ба! А! — повторял тем более изумленный Браскасу, что глаза его, теперь уже привыкшие к темноте, смогли узнать в человеке, шедшем слева около него, цирюльника — а справа — полицейского дона Жозе.

Как вдруг, мгновенно, все шедшие одновременно вздрогнули, подобно тому, как если бы под ногами у одного из них внезапно воспламенился порох; а затем, среди всеобщего смятения, виднелись лишь вытянувшиеся шеи, поднятые кверху головы и жадно протянутые вперед руки.

Из-под красных занавесей выглянула Франсуэла, вся в белом и в золоте.

Они бросились туда, опережая один другого, задыхаясь, толкаясь; черные плащи развеваемые ветром хлопали по воздуху, как крылья, на которых они неслись к этой очаровательной девушке, напоминая собой полет тех ночных бабочек, которых влечет к себе и поглощает огонь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.